

## ПОКУРИТЬ НОЧЬЮ

Сашка Грамотин, совхозный бригадир, среди ночи вставал, чтобы покурить. Жена ругала его за это нещадно, но он ничего поделаться с собой не мог. Осторожно поднимался с постели, накидывал что-нибудь на себя и шел во двор под навес с дровами. Сидящий на цепи кобель Байкал глухим басом влаивал пару раз для порядка в темноту: мол, всё вижу, всё слышу.

– Молчи, предатель, – презрительно отзывался на это всякий раз Сашка, устраиваясь у поленницы.

Предателем Байкал стал после того, как проспал мотоцикл бригадира – его угнали местные хулиганы. Мотоцикл потом нашелся в Куликовском околке, но репутация Байкала была испорчена.

– Для чего же я тебя, такого балбеса, выкормил, – приговаривал на второй день Сашка, стегая прутом кобеля. – Что же ты, падла, за сторож такой? Тебя же самого украдут и обдерут на унты.

Байкал даже не скулил, понимал – виноват.

С тех пор у Сашки и установился по

ночам такой разговор с кобелем. Тот подлизывался, встречая его осторожным влаиванием – дескать, прости, хозяин, на что Сашка крыл его предателем. Пёс голова после этого не подавал, только долго и грустно возился в конуре. Он помнил прут из ракиты.

Сашка догадывался, его перекуры по ночам – это ненормально, вредно. И, как мог, боролся с собой. Просыпаясь от нестерпимого желания покурить, он внушал себе: «Не пойду, пересилю, что уж я, совсем слабохарактерный, что ли?»

Он лежал в призрачной темноте и смотрел на окно. Сквозь плотную штору тускло просвечивала лампочка, мотаясь на столбе. У стены ровно дышала жена.

И вдруг ему вспоминалось, как обычно закуривает бригадный учетчик Ванька Наток. Ванька, ударяя ногтем по донышку голубоватой пачки, выщелкивал тонкую папироску «Севера», громко продувал картонный мундштучок, потом крепко закусывал папиросу в зубах и прикуривал. При этом первые две-три затяжки делал с жадным привсхлипом.

Сашка вздыхал, переворачивался на

другой бок, и сразу же ему представлялось, как дядя Паша Пухтин развешивает для просушки табак. Он нанизывает табачные листья на толстую суровую нитку и прикручивает её к двум столбикам под специальным навесом. Тут же, на широкой лавке, стоит деревянное корытце с толстым дном и эмалированный таз, наполовину наполненный терпкой, буро-зеленой сечкой.

– А попробуй, Сашка, моего, – говорит дядя Паша, смешно шевеля желтыми усами, и протягивает ему горсть табаку.

Сашка в темноте раздувает ноздри, принохиваясь. Ему кажется, что в комнате потянуло струей крепкого, ни с чем несравнимого табака от дяди папиной самокрутки. Он матерится про себя, осторожно спускает ноги на половицы настывшего пола и тихонько, чтобы не загремели в сенках ведра, выбирается на улицу к заветной поленнице.

Однажды он заметил, что не сразу, после того как покурит, идет в дом. С полчасика, а когда и больше, постоит, послушает ночь, посмотрит на небо. А были иногда ночи диковинные и все разные, непохожие одна на другую. Этой весной услышал, как летят с юга птицы, и поразился, что летят-то они, в основном, ночами. Началось это, когда сходили с полей снега. Ночи в это время волглые, тревожные. Кажется, вся природа шевелится в томлении и ожидании, и эта легкая тревога разлита по всей округе. Она в новых звуках замерзающих ручьев, во вздохах оседающего снега, в будоражащих, уже не зимних запахах, волнами наплывающих с полей. И вдруг знакомый и почти забытый за зиму звук в вышине:

– Ковк! Ковк! Ковк!

Сашка сотни раз слышал этот птичий призыв в небе и спрашивал у своего отца, старого охотника:

– Батя, это кто по ночам кричит?

– Да гагары это, Санька.

Но Сашка заметил – уверенности в ответе отца не было. Кто знает, может, старик и сам всю жизнь мучился этой загадкой. А, может, и не мучился вовсе, не нужно ему это было. Батя у бригадира был мужик причудливый, себе на уме.

Сашка удивлялся, что по ночам открывал что-то новое. Ведь не пацан уже. За тридцать. Всю жизнь прожил в деревне. Как же не замечал раньше, то одного, то другого? И правда, не замечал. Тогда, ночью, он даже не понял, что птицы летят. Как-то внутренне, в один момент почувствовал – в сырой темноте что-то переменялось. Будто кто-то накрыл небо плотным одеялом. Оно, это одеяло, было живым, шевелящимся, издающим невнятные звуки на разные голоса. И этому шороху, шепоту, шелесту крыльев вместе с

невнятицей гортанных доисторических голосов, казалось, не будет конца и края.

Утром Сашкин батя подтвердил:

– Птица пришла на озера. Рано нынче.

– Ты что же, не спал ночью?

– Почему не спал? – Отец воткнул топор в осиновый чурбак – он насаживал в это время черенки на вилы и лопаты.

– А откуда знаешь?

Старый Грамотин передвинул жаркую шапку со лба на затылок, посмотрел в небо, потом перевел взгляд на заканчивающуюся скирду сена. Она стояла сразу за огородом, а за ней была уже степь. Еще серая, грустная, только-только начинающая зеленеть.

– Это и так ясно... Жалко, Санька, ты не охотник. Хочешь, скажу, где сейчас птицу можно посмотреть? Думаешь, она вся на озерах? А мне вот и ехать не надо, знаю. Дорога на Чистоозерку сейчас залита, так они на ней, как суворовцы, рядами сидят. Не веришь? А ты поезжай, посмотри, потом расскажешь. Да не болтай никому, птица сейчас глупая, доверчивая, а дурак с ружьем всегда найдётся.

На второй день Сашка на мотоцикле поехал к Сопатому озеру. Дорога была еще некрепкой, грязной, и «Урал» то и дело заносило на высокую, насыщенную из глины грунтовке. Сама же степь хоть и блестела огромными, сверкающими на солнце лужами, но быстро просыхала и кое-где уже зеленилась травой. Околки были полны воды. Тонкие березовые ветви приобрели тот коричневато-розовый цвет, который бывает только раз в году – весной, когда лопаются на деревьях почки и леса покрываются серо-зеленой дымкой. Обычно после этого падает на Кулундинскую степь короткая, яростная весна. Падает жарким обвальным солнцем, переливчатым стоном жаворонков в поднебесье, коврами пестрых цветов под гривами и призрачным маревом, в котором будут высоко плавать и причудливо изгибаться белые дома соседних сел.

Сашка знал, как обманчивы ранние весны в Кулунде. Случалась, на деревьях уже полный лист, весь скот на выпасах и вдруг налетит падера: снег с дождем, страшный ветер. Завоет степь, закроется страшной круговертной пеленой, такой, что белого света не видно. И через сутки уже не поверишь, что вчера сидел в ограде в одной майке и вчал сеть. Кажется, зима никуда и не уходила, и только сжавшиеся под снегом в комочки зеленые листья напомнят об отступившей весне.

В этом году батя сказал Сашке, что весна будет спокойной. Бате бригадир верил, особенно его словам: «Птица, Санька, не дура, она знает, когда лететь. Хотя всякое бывало».

Эти добавления иногда злили Сашку:

без них батя, конечно, не может. И думай потом, как верить его словам. Но он верил.

Сашка осторожно спустился на мотоцикле с гривы, притормозил и, заглушив «Урал», поставил его на обочине. Все было так, как сказал отец. Сопатое озеро разлилось в сторону яра и перехлестнуло через дорогу, ведущую на Чистоозерку. И не просто перехлестнуло. С другой стороны, пожалуй, теперь тоже целое озеро, а значит, с месяц дорога будет непроезжей. Только сейчас, когда заглох мотоцикл, он услышал сдержанный гомон птиц. Их было много на озере, но и на дороге по обе стороны от разлива, как и сказал старый Грамотин, действительно, чуть ли не рядами сидела птица. Так близко и так много дичи сразу ему еще не доводилось видеть. Здесь были гуси и даже штук шесть лебедей, а всевозможных уток не счесть. И кряковые, и шилохвосты, и свиязи, и оголои, и разномастная чернеть, и чирки, и серые... Почему они выбрали это место, дорогу? Грелись в ней, подбирали какие-то камешки? Сашка решил спросить об этом у отца. И ещё одна странность. Не было тех ликующих звуков, громкого гогота, кряканья, который оглушает в середине мая на озерах, заполненных дичью. Слышна была какая-то невнятная разноголосица. Словно птицы устали после долгого пути и теперь о чем-то грустно, вполголоса переговаривались. Поразило бригадира, что они его не боялись. Осенью и на сто шагов не подпустит тебя утка, не говоря уж о гусях, чутких и сторожких птицах. А тут почти и внимания не обращают. В общем, убедился Сашка, не соврал батя...

Как-то в середине мая он курил у своей редееющей поленицы, смотрел на небо. Там, казалось, не было и кусочка свободного пространства, не занятого звездами. Сашка вел головой от одной стороны небосвода к другой, вбирая глазами россыпи светил, и шалел от непостижимой красоты и непонимания всего этого. Неужели эта бездна, как учили в школе, бесконечна? И как это понять – бесконечность? И почему эта красота видна только ночью, когда люди спят? Значит не для людей? Для кого?

И тут услышал голоса. Они доносились из-за его сараев. Сашка забеспокоился. Туда он недавно перевез остатки сена из-за огорода. Не дай Бог, пацаны курят – сожгут. Он уже хотел было крикнуть им, когда явственно различил – один голос женский. Сашка прошел через денник в сарай. Там у него было открыто окно в огород, через которое он выбрасывал наружу навоз. Оттуда он и хотел пугануть влюбленную парочку. Тоже, нашли место

для свидания. И остановился. Понял по голосам – не малолетки это. Взрослые. Женский голос звучал покорно и устало:

– Уже десять лет мы с тобой так вот, Коля... Устала я, крадучись жить. Не обижайся. Раньше надежда была, что будем вместе. Теперь понимаю, тебе так лучше, удобнее было. А сейчас? Чего уж людей смешить... У нас с тобой сыновья уже вон какие, о девках думают...

– Да ты что, – мужчина попытался обидеться, но сквозь эту деланную обиду пробивалось раздражение. – Знаешь ведь, мать у меня больная, уйду – ей конец. Да и с пацаном беда... Говорили ведь об этом не раз.

Сашка как-то сразу про себя отметил: «А Коля этот – сволота». Он силился по голосам узнать односельчан и не мог.

Женщина возражала Коле:

– Матушка твоя, Коля, дай Бог ей здоровья, уже лет пятнадцать болеет. Такие долго живут. Да и не в этом дело. Ты со своей – все вместе да рядом. В одном же дому и хозяйстве крутитесь. Не верю я, что у вас ничего не бывает. И как нарочно: в клуб – под ручку, в магазин – под ручку, на гулянку – под ручку. И все мимо моих окон. А мне вроде как объедки достаются...

– А мне не объедки? А у меня подругому? – Сашка понял, что такой разговор у тех, кто сидел сейчас у него на сене за сараями, наверно, первый. А Коля продолжал. – Я, между прочим, с твоим влесте работаю. Так он замордовал уже: «Моя Нюрка и такая, и эдакая, и вот какая». А однажды ляпнул: «Мне при моей Нюрке ни другой бабы, ни любовницы не надо, всех заменит...» – Это мне было, как слушать? А ты – под ручку я хожу, видишь ли. А я что должен бить её? За что? Она-то в чем виновата?

Женщина, которую, как понял Сашка, звали Нюрой, устало согласилась.

– Это точно, они не виноваты. Мы виноваты во всем. И себя измучили и их. Да и жить все время в обмане – сил уже нет. Как будто тяжесть какую ношу с собой. Последняя это наша встреча, Коленька. Нельзя так дальше.

Женщина заплакала.

– Погоди, Нюра, подожди, – голос у мужчины изменился. Он стал мягким, заботливым и тревожным. – Почему последняя-то? А как же я?

И Сашка понял по этому изменившемуся голосу, по особым ноткам в нём – любит он Нюрку.

Он не хотел дальше слушать. Стыдно было. И на душе стало маетно, и нехорошо.

Шагая на второй день на ферму, он думал о вчерашнем разговоре за сара-

ями и все никак не мог сообразить, кто же это был? Колек да Нюрок в селе хватало. И к кому бы он ни прилаживал этот ночной разговор для сараями – ничего не сходилась. «Во, страсти, – думал Сашка, – похлеще, чем в кино. И главное, не где-нибудь, а в деревне! Десять лет крутить любовь, и чтобы никто не знал – это уметь надо!»

А скоро, так вышло, кончились Сашкины перекуры по ночам. Верка, его жена, пошла как-то в магазин за продуктами и, как всегда, купила сашкиных сигарет – «Примы». Продавщица, пересыпая ярко-красные пачки в веркину хозяйственную сумку, заметила:

– Твой, смотрю, тоже курит, не приведи Господь...

– Не говори, – Верка стала жаловаться, – поверишь, среди ночи встает и идет на улицу курить. Дома-то я не даю. Так ему и мороз, и дождь – все одно. Лишь бы покурить. В любую погоду идет.

– Среди ночи говоришь? – продавщица усмехнулась. – Мой-то тоже курит, да так, что спасу от его дыма нет. И тоже, было, прилажился на улице курить, правда, не по ночам, а по вечерам. Я золу как раз выносила, слышу около гаража нашего: ха-ха-ха да хи-хи-хи. Я – туда. А там девки Тоскуевы и мой, вроде как курит, стоит... Ну я ему быстро табак подмочила. Так что ты смотри, Верка, ох, смотри...

Через несколько дней копали землю под грядки в огородчике. Верка, не поднимая головы от лопаты, вдруг сказала Сашке:

– Ты, это... По ночам кончай блукать... До утра он потерпеть не может... Еще неизвестно, с кем ты там куришь...

Сашка остановился, с удивлением глянул на Верку, соображая, к чему она это сказала, потом понял, плюнул и, с силой воткнув лопату в землю, ушел из огорода. Противно стало. Ходил, злился и не понимал, чего это на нее нашло?

К вечеру остыл, успокоился. Докопал грядки и даже успел сколотить рассадник под помидоры. Этой же ночью, проснувшись, хотел было потихоньку встать с постели, и вдруг услышал:

– Куда? – Жена сидела на кровати, и хотя в сумеречном свете лицо ее было видно плохо, Сашка понял: смотрит на него.

– Ты чего, Вера, встала, ночь еще. Я – покурить.

– Не ходи!

– Да ты что, в самом деле?

– Не ходи, или вместе пойдем...

– Мать твою за ногу, ты что, сдурела! – Сашка вспомнил разговор, когда они копали грядки, вспылил и выскочил во двор.

Сигарета никак не раскуривалась. А когда все-таки сделал первые затяжки, по-

казались они ему кислыми и невкусными. И подумал: «Все, откурился...».

Сырой ветер бросал в лицо то ли снег, то ли дождь. Звезд не было видно. Двор в серой суете выглядел неуютно. Сашка швырнул со злостью окурок на землю и пошел в дом.

И стал он жить после этого обычной жизнью. Курить вообще перестал. Как отрезало. Днём только иногда, словно видение из другого мира, вспомнит, как гуси в ночи летят, или представит усыпанное звездами небо. А иногда как будто услышит звонкое пение весеннего ледка под ногами. Только в марте и под утро он так звенит. Или как вспыхивают июльские зарницы. И много еще чего. Постоит, покачет головой, сам себе улыбнется. Знает – рядом все это. Ночью. И начнет себя стучать по карманам, ища сигареты. А там – пусто. И снова покачет головой...

## ИЗ ЦИКЛА «ВДРУГ ВСПОМНИЛОСЬ...»

### ПОСЛЕ КИНО

Раньше в нашем поселке в кино целыми семьями ходили. Особенно зимой. Летом ведь некогда. Полно всяких работ допоздна. А тут вечера больше свободные.

Зимняя ночь. Крепкий морозец. Огни по деревне. Тихо. Иногда собаки от лени да от холода взлаивают в разных концах. А то бывает – одна начнет лаять с подвизгом где-нибудь на задах, на Калмыцкой улице, к ней присоединится другая, третья, и в пять минут все деревенские шавки, словно обезумев, поднимают сумасшедший лай и вой. Потом снова все надолго затихает.

Небо зимой высокое, словно матовым подсвечено изнутри, и от этого неуловимо синит. Звезды острые. Ведешь головой по небосклону и с ума сходишь от этой непостижимой красоты и непонимания – зачем это, зачем она, эта красота?

И тут от клуба раздается шум, говор. Снег скрипит, визжит в промороженных сугробах. По тропинкам по одному, по несколько человек, где рядом, а где гуськом, переговариваясь, обсуждая картину, идут люди. Мальчишки, конечно, бегом, вприпрыжку, взрывая снег обочь тропинок.

И я бегу. Мороз крепкий, кусает. Влетаешь в дом, а там тепло, благодать.

– А ноги, ноги, что обметать будет! Там же веник в сенках!

Это – мама.

Вылетаешь в сенки, полынным веничком оббиваешь снег с валенок и на любимую широкую печь.

Тёплое счастье. Глаза слипаются, а в голове кадры самого чудесного из миров, который до этого никогда не доводилось видеть в деревне. Кино...

## ЖУРАВЛИ

Целую ночь напролет  
Он голоса приносит.  
Здесь ушло в облака  
Столько людских поколений!  
Дождь над старой деревней.  
Сётацу

Обычно в наших местах докапывали в огородах картошку в конце сентября. В это время здесь было очень много людей, да не все ли и собирались? Переговаривались у плетней, разделяющих огороды, перекинулись шуточно, пекли картошку, жгли ботву. Пацаньи голоса звенели на всю округу. В каждой семье тогда было по четыре, пять, шесть ребят.

Березовая роща уже сеяла уставшие желтые листья, и они засыпали обнаженную после копки картошки землю, которая становилась от этого пестрой. Часть рощи заходила прямо в наш огород. Здесь же, конечно, был и колодец, что удобно для полива. В нашем колодце вода была самой лучшей в деревне. Отец гордился этим.

Благостное сентябрьское тепло, когда солнце не печет, а ласково греет. И вдруг кто-нибудь крикнет:

– Журавли летят!

И начнут пацаны разносить по огородам:

– Журавли летят, журавли!

А они – в белесовато-синем осеннем небе – клином. Высоко и величественно. И грустные крики загадочных русских птиц плывут над нашей степью.

Потом я долго, многие годы не встречал и не слышал журавлей. И вот как-то заехал на машине на печальное место, где некогда стояла старинная деревня Костылево, что неподалеку от озера Чаны. И неожиданно увидел, как по бывшим деревенским улицам, от которых остались только фундаменты, бродят эти птицы из моего детства. Они что-то тихонько подкурлыкивали друг-другу, переговариваясь. Может быть, удивлялись? Еще недавно здесь была деревня, а теперь пустошь. Что их сюда привело, на разоренное место?

Еще позднее я рассказал об этом своему земляку, писателю, с которым меня, несмотря на солидную разницу в возрасте, связывали крепкие и долгие отношения.

Он выслушал и не сразу ответил. Что-

то думал, вздыхал. А потом вдруг убил фразой.

– Ты уверен, что это были журавли?

– Ничего себе! А кто? Я же видел!

Он пожал плечами и больше ничего не сказал.

А я не мог смолчать:

– Что-то, прямо как в песне... – и вопросительно посмотрел на него. Он опять помолчал, опять повздыхал:

– Знаешь... А эту песню вообще нельзя трогать... Мы и так все оплошили и засмеяли... Мне кажется, что её и не человек даже написал...

Я понял, что говорить больше ничего нельзя...

И теперь, когда увижу в небе журавлей и услышу их крики, меня обдает легким ознобом. Вспоминаю своего старшего и доброго товарища, коего уже нет на земле... И всегда перед глазами останки старой деревни Костылево и расхаживающие по ним теперь уже расплывчатые тени. Журавли?

## ОТЕЦ И ГРОЗА В СТЕПИ

Мой отец жутко боялся грозы. Бывало, когда туча найдет на дом и начнет греметь и поливать молниями, он бледнел, поминал Господа Бога и готов был забиться под кровать от страха. А так как будто не боялся ни темноты, ни одиночества. Ночевал один на озере в камышах, в поле, а вот грозы боялся.

Как-то ехали с ним по степному проселку. Лошадь спокойно трюпала по мягкой пыльной земле. Вдруг отец встревожился. Прямо на нас шла туча, а вскоре впереди уже встала белая мутная стена – так нередко начинается гроза в Кулундинской степи. И тут же загромыхало страшно, обвално, молнии буквально стали полосовать землю. Потом раздался треск. Такой, будто рвут толстую грубую материю. Я знал уже, что если гром такой, то молния упала совсем рядом.

Отец вмиг осунулся, стал как-то не человечески, диковато озираться по сторонам. Но вот увидел копну сена, хлестнул кобылу, и мы сквозь дождь понеслись туда, хотя в степи лучше не прятаться ни в копны, ни в скирды во время грозы – молния ведь бьет в возвышенное место. Но все делают обычно наоборот. И правда, куда укрыться от дождя?

С неба полило сплошным потоком. Отец отогнул край крепко запахшего от небесной влаги сена и сказал мне, опасно косясь на тучу:

– Полежай.

И сам примостился рядом.

Под копной было уютно. Пахло разно-

травной поляной, пересохшей на солнце клубникой. А сверху гремело, сверкало, шуршал по селу дождь. Потом как-то разом все стихло. Стало светлее. Я хотел сказать отцу, что вот, мол, и дождь кончился, но, повернув голову, увидел, что он спит. Лицо его мучительно вздрагивало во сне. Он глуховато стонал. Я смотрел и не мог оторвать от него взгляда.

Странно, но тогда впервые я как-то разом понял, что он мой отец, а я – его сын. А был я тогда уже взрослым.

## СИЯЮЩИЕ ОКНА

Наша улица была совсем маленькой. В том ряду, где мы жили, всего-то и насчитывалось с десяток домов и избышек. Стояли они вплотную к березовой роще. Березы в ней были как на подбор. Высокие, стройные и совсем непохожие на те, сгорбленные и приземистые, что растут в околках, разбросанных по Кулундинской степи. Впрочем, и в этих околках есть своя прелесть и красота.

Со стороны степи почти всегда дули ветры. Роща их сдерживала. В непогоду она шумела протяжно и тревожно, процеживая сквозь себя ветер, ослабляя его холодную силу. Шум берез был разным в зависимости от времени года.

Осенью далеко несло по воздуху крепкую березовую листву. Она, обессиленно падая, засыпала дворы и огороды, устилала жёлтым поляну перед нашими домами.

Когда-то с этой улочки началась деревня, а потом наши дома оказались на отшибе, деревня ушагала дальше.

Бежишь, бывало, осенью из школы или клуба, ветер пробирает тебя насквозь. Перебегаешь через дорогу, потом через пустырь, где стоит одинокий магазинчик, и оказываешься на небольшой поляне, освещенной окнами домов. Здесь – затишек. Спокойно и как-то сразу тепло.

Зимой, по вечерам, особенно уютен и радостен был этот свет из окон. Вдоль домов по снегу были натоптаны тропинки. Жили в нашей деревеньке тогда дружно и часто по гостям ходили. Ну а мы, пацанва, конечно, бегали до позднего вечера по родной улочке, по этим самым тропинкам в свете окон, затевая всевозможные игры.

Случалось, бегаешь, бегаешь, остаешься у какого-нибудь палисадника и увидишь кусочек чужой жизни за окнами.

Хозяин в розовой майке устало сидит за столом и задумчиво крутит в руках стакан с чаем. И по тому, что он в майке: понимаешь, тепло, даже жарко в доме. Прислонившись спиной к печи, стоит молодая хозяйка и что-то со смущенной и в то же время радостной улыбкой (соскучилась за

день) говорит, говорит – торопится пере-сказать, что накопилось за это время. А он слушает ее и тоже иногда пытается улыбаться. Но получается у него это не очень. Не отошел еще от работы, от снежной степи, от гула трактора – целый день с полей вывозили сено. И хотя ему как трактористу можно было сидеть в кабине, но где же утеришь, если прицепщики – ребята молодые и неопытные. Напортчат – собирай потом сено по всей степи. Вот и высккивал наружу: то перецепить волокушу, то показать, как нужно заводить тросы за скирду. Ну и набило лицо февральским ветром – оно теперь, отходя в домашней теплыни от холода, горит. Попробуй тут поулыбайся, когда щёки тянутся, как резиновые.

И все равно улыбается. Хорошо, когда дома тебя ждут, когда жена ладная да умелая, когда пацаненок, твоя копия, заливается-хохочет, барахтаясь на печи с котом.

И так за каждым окном. Своя, уютная и, казалось, вечная жизнь. Без невзгод, без нездоровья, без смертей.

В том углу нашей поляны, где над бабки Галченкиной избышкой нависали березы, по вечерам дружили Димка Москаленко и Валька Каткова. В шестидесятые годы прошлого века, когда девушка и парень симпатизировали друг другу, то есть встречались, вместе гуляли, ходили в кино – все это называлось – дружили.

В деревне все про всех знали. За Димкиной и Валькиной любовью наблюдали с пристальной жадностью.

Димка был одним из признанных деревенских красавцев-силачей – крупный, добродушно-спокойный, как и все в Москаленкинском роду. Валька тоже была красивая, фигуристая и очень опасная, по мнению деревенских баб.

– Жигалка, – говорили они про неё, – вертячая, как кобыла поздняяковская, не идёт, а прямо пляшет. А гордячка! Голову задерет и глазами туда-сюда, туда-сюда.

Опасной считали Вальку бабы, имевшие сыновей-женихов, потому что, не дай Бог, в маманю пойдет, а та, как говорили, сильно уж гуляла по молодости. Сменила несколько мужиков, родив от каждого по ребенку, и век свой доживала без хозяина, с детьми.

В ту пору в нашей школе впервые ввели одиннадцатый класс, и получалось, что к концу обучения многим исполнялось по восемнадцать лет. А это тот возраст, при котором можно вступать в брак. Вот Димка с Валькой и решили: как только закончат школу, сразу поженятся.

Москаленкина родня на дыбы поднялась. Жениться не послужившему в армии парню без специальности – это было тогда не заведено. Вальку невзлюбили за

то, что сбивает парня с панталыку. Вот они и облюбовали подальше от димкиной родни закоулков, чтобы встречаться.

У нас, пацанов, было одно на уме – подсмотреть, как целуются Димка с Валькой. Мы выглядывали из-за избушки, а они целоваться не торопились. Ходили по освещенной полянке по кругу, снежок скрипел у них под ногами, а они что-то все говорили, говорили, да Валька заливисто смеялась – громкая была девка. Это нас больше всего убивало, ну чего говорить, чего смеяться, хватая да целуй.

Кто-то не выдерживал, уходил домой. Родители уж давно прокричали: «Витька, домой! Колька, ну-ка в дом иди, где ты, зараза, шлешься, а то, смотри, получишь у меня!»

Наутро мы ввали друг другу напраполю: «Вы только ушли, а я вернулся, Димка Вальку как прижмет к плетню и давай целовать...»

Эх, легкое, розовое пацанство отлетело незаметно. Иной раз думаешь, а со мной ли это было там, в степи, где жил, шевелился, гремел, надсадно работал, страдал, плакал и смеялся мой степной народ?

Так получилось, что эти окна мои снились потом всю жизнь. И в трудные годы в армии, и в чужих краях среди враждебных людей. Этот свет поддерживал, исцелял, наполнял силой и надеждой.

Долгие годы был целым и мой родительский дом, из окон которого шёл этот живительный свет. Бывало, я наезжал сюда после длительных командировок или душевных мытарств и невзгод. Выкашивал во дворе траву, загонял машину и какое-то время жил здесь, около любимых степных озер, бордовых закатов, очищающего запаха полыньки, звездных ночей, немолчного стрекотания днём кузнечиков, вечером цикад.

И почти каждый раз случались здесь сердечные находки: то серп, подоткнутый отцом под крышу сарая, то мамин платок, ее рукой повешенный в летней кухне. Самое дорогое было, что отцом подоткнут, маминной рукой повешен. Душа моя тогда заполнялась благодарностью к людям, которые жили по соседству и не тревожили родительского дома, не зорили его.

Иногда по вечерам, особенно если доводилось быть в родной деревне на излете зимы, я зажигал во всех комнатах огни и ходил по поляне, на которой тропинок уже не было. И хотя предупреждал поэт Геннадий Шпаликов: «...Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того что ищем, ни тебе, ни мне...» Я всё-таки находил. И уезжал в чумной город совсем другим.

Потом соседи по отцовскому дому разъехались. Их место заняли другие –

новая, нездоровая поросль, живущая одним днем, для коих разорительство, воровство обыкновенны, как, впрочем, и во всей моей разворванной и обиженной стране.

Недавно довелось по печальному случаю побывать в родном селе. Мы ехали с братом на его машине. Дорога шла как раз мимо отцовского дома. И он меня все время отвлекал: «Гляди, гляди, какие снегири... Они к нам, между прочим, перед самой весной прилетают... А туда глянь, видишь, у твоего дружка Генки скирда какая за огородом, молодец мужик!»

А мне смотреть-то хотелось в другую сторону. И тогда он остановил машину и сказал, отводя глаза: «Да не смотри ты туда, не смотри, ради Бога! Нет там больше родительского дома! Пустое место! Понимаешь, пустое! Раскатали и растащили его по ночам. Не мог я его уберечь...». И отвернулся...

Да, раньше, бывало, закрою глаза и представлю: зима, звездное небо, наша поляна, льющийся из окон целебный свет, звенящий снежок под ногами проходящих в этом свете дорогих мне, людей. Это была моя родина.

## ПЛАЧУЩАЯ ГУЛЯНКА

Неподалеку от военных дач – большой березовый лес. Справа от него – пруд, окаймленный тоже берёзами. Лес рассекает длинный лог. В этом логу поздней весной цветут жарки и какие-то синенькие цветы. Сильно пахнет черемухой. Мне все время казалось, что посреди лога сыро, топко, и поэтому я никогда туда не спускался. А этой осенью решил. Оказалось, лог сухой, и отсюда, с его дна, поднимаются самые высокие березы.

Внизу было тихо и спокойно. Я сидел на стволе поваленного дерева в светлом сумраке, вдыхал терпкие осенние запахи и желал только одного: чтобы кто-нибудь из дачников не забрел сюда и не перебил этой тихой минуты.

Солнце вдруг пронизало насквозь лес, и вверху ударил порыв ветра. Он захватил верхушки деревьев, скрутил их, потом с силой разбросал. И понесло березовую листву по ровному свету. Она кружилась и падала так, будто кто-то сеял её сверху. Эти запахи, и солнце, и шум берёз были такими же, как когда-то в роще, в моём родном поселке.

А у нас-то и было из примечательного в деревне – это большие и весёлые березовые рощи. Приезжие всегда удивлялись: «Деревня у вас какая-то разбросанная, никакого порядка нет. Не поймешь, где улицы, где переулки».

Все объяснялось просто – дома и

какие-то значительные здания ставили около березовых рощ или прямо в них. Так оказалось, что в рощах стояли клуб и школа, ремонтные мастерские и кузница, контора и баня. Их так и называли: Конюшенская роща, Школьная, Клубная, Бурвышечная...

Весной рощи были заполнены водой, и нужно было брести по ней в высоких резиновых сапогах, чтобы добраться до пекарни, клуба, бани или просто перейти на другую сторону. Как это часто бывает в Сибири, иногда весной ударяли крепкие морозы, и тогда мы катались на коньках среди берез по темно-зеленому льду. По воде же, конечно, плавали на самодельных плотках. Ну, и нередко кто-нибудь кувыркался с такого плота в воду. Дома получаешь за это от матери взбучку, иногда она «отвозит» тебя в назидание твоими же мокрыми штанами, и сидишь на печи, прижавшись к обжигающим благодным жаром кирпичам, – выгоняешь простуду...

Иногда бредёшь весной по лесу, остаешься и, опустив голову, увидишь отраженные в воде березы, которые, уходят в бездонную синеву, и не поймешь, где небо, где вода? Голова кружится, мир плывёт в берёзово-голубой глубине.

Осенью почему-то только в Клубную рощу наносило столько листвы, что лежала она там толстыми мягкими буртами. Вот уж где было раздолье нам, пацанам, – прыгать, кувыркаться, смеяться и орать во всё горло, на весь лес.

А потом берёзовые рощи пропали. Доподумалось как-то местное начальство пробурить артезианскую скважину. И забил с полторакилометровой глубины фонтан воды на окраине деревни. Воды теплой, очень щелочной и не очень-то здоровой не только для людей, но и для леса. Пятнадцать лет изливалась вода в степь, и поднялись грунтовые воды. Рощи стали погибать. Долго, пугая жителей по ночам, торчали на месте рощ длинные черные пни. Позднее стерлись и они, оставаясь только в памяти у тех, кто тоже сейчас сходит в обиженную землю.

На одной из деревенских гулянок как-то заплакал рыжий мужик Гришка Туликов. Плакал громко, взахлёб, как и не плачут мужики. И почти впричет приговаривал:

– А вы помните наши рощи, люди? Ну, неужели вы не помните наши рощи?

Умолкла гармошка, остановилась песня. Начали урезонивать его, думая, что это просто пьяные и бестолковые слезы. А потом вникли, и заплакала вся гулянка. Оплакивали мои родные мужики и бабы дивные березовые рощи, оплакивали душу деревни.

А я так и думаю, что у каждой деревни, поселка, хутора есть то, что можно на-

звать душой деревни. Уютная речка, почти домашнее озеро, какая-то гора. У нас это были берёзовые рощи. Низвели их люди – погибла душа деревни. И стал наш поселок голым, бесприютным. Все линови, ветры и падеры валяются на него с небес, и погибает он в грязи и постоянной распутице.

## ДЕД ОХОХОНИН

Всё в нём было какое-то старинное, почти древнее. И возраст – под восемьдесят, и даже имя – Перфилий Макарович. Приходился дед Охохонин нашей семье дальним родственником, а скорее, свояком. Его дочь, Нюра, была замужем за моим дядькой Григорием. И хотя жили в деревне ещё свои, родные дед с бабкой, Степан да Анна, мы Перфилия Макаровича тоже звали дедом, правда, с добавлением – дед Охохонин.

Вот говорю – дед Охохонин, а тогда его, несмотря на возраст, дедом было трудно назвать – высокого роста, крепкий, даже могучий мужик. Основательный, важно-медлительный, с кирпичным, вечным степным загаром на лице.

На Великую Отечественную он не попал: возраст уже солидный, да и броня на него наложили, так как он был единственным на всю округу умельцем-кузнецом. Ходили слухи, что в Гражданскую он воевал в Чапаевской дивизии. Впрочем, и о другом говорили, что у белых тоже служил. Сейчас можно поверить и в то, и в другое. Когда я занимался документами наших сибирских мужичков, то нередко обнаруживал, что умудрялись они повоевать и на той и на другой стороне. Чаще всего не по своей воле, а по принудительной мобилизации. В конце тридцатых для многих это стало роковым обстоятельством.

Был один признак, по которому можно было судить о всеобщем глубочайшем уважении к деду Охохонину. В самый разгар очередной антиалкогольной кампании дед, как гнал наилучший в деревне самогон, так и продолжал гнать, и никто ему по этому поводу ни слова не говорил.

И смех и грех. Как-то зимой везёт на санках укутанный в грубую клетчатую шаль свой самогонный аппарат в РТМ и почти каждому встречному поясняет:

– Вот ведь беда – прохудился у меня агрегат. Десять лет исправно работал, а тут сломался. Видно, Клементий плохо в прошлый раз трубки спаял.

Здоровья он был накрепчайшего. В нашей деревне не было частных бань, потому что организовалась деревня сразу как совхоз, в 1943 году. Почти на голом месте. Все мылись и парились в общественной бане. По пятницам – женщины.

По субботам – мужики. Когда в субботу туда приходил дед Охохонин, кто-нибудь из мужиков обязательно говорил:

– Ну, все, на час-другой отпарились, дед Охохонин пришел.

В бане он почему-то выделял меня. Бывало, попросит:

– Похлопай меня маленько, Витька.

Какой там, похлопай! Уже через пару минут я умирал на полке, боясь свариться в раскаленной тесноте парной. А он только переворачивался с боку на бок да кряхтел:

– Шибче, шибче!

Потом стал прихварывать. Придёт, бывало, держась за стены, попросит отнести на полок тазик с водой, веник. Сам, облокотясь на кого-нибудь, с трудом поднимется по ступенькам. А через час уже своими ножками слазит с полка, бодрый, весь малиновый, и домой идёт совсем другим человеком. Вот какие чудеса делала парная!

Еще позднее париться ему стало совсем нелегко. Так он возьмет, наведет в тазике крутого кипятка, веник туда запустит, а потом прикладывает к своему телу. То есть до самой смерти хотел париться.

Был у деда Охохонина диковинный сад. Диковинный, потому что по тем временам в нашей Кулундинской степи в палисадниках тополя да клены и то чудом были. А тут! Росли у него в саду и яблони, и груши, и сливы, и даже виноград. И все это плодоносило, давало просто поразительные урожаи. И что интересно, лазили мы, мальчишки, и по огородам, и по палисадникам чужим, а вот к деду Охохонину – никогда. Почему, понять не могу до сих пор?

Зато осенью ни одного пацана, который бы проходил мимо его сада, он не забывал. Обязательно остановит:

– А иди-ка сюда, внучек. Чей ты, говоришь, сынок? Сергея Малащенко? На-ко вот тебе яблочек.

Люди умирали, а дед Охохонин жил. Годы к девяноста стали подбираться. Две смерти его свели в могилу. Сначала умер пятидесятилетний сын. А потом внук. Смертью непонятной и нелепой. После армии уже, когда учился в сельхозинституте, двадцатитрехлетнему парню вырвали зуб и занесли заражение. В два дня убрался хлопцем на тот свет.

Помню, стоял дед Охохонин у гроба и говорил, глядя на внука: – Я ведь там, в околке, лежать должен... И ково эта жизнь выделяет. Молодые помирают, а старики живут... А я ведь там был недавно, в околке -то, где кладбище... Так там теперь деревня больше нашей. И дома и переулки свои...

Надо сказать, что с женой своей, Ан-

ной Васильевной, прожил Перфилий Макарович душа в душу всю жизнь. И на фотографии, что на могилке, они рядышком сфотографированы, сидят, прижавшись голова к голове.

После того, как он умер, бабушка, до этого бодрая, ещё на ногах, враз слегла. Плакала всю неделю и ослепла от слез. Когда пришла её попроведовать дочь Нюра, она сказала ей:

– Иди, дочка, на почту,ними деньги, помирать я буду, Порфиша меня зовет.

Когда Нюра пришла с почты, мать уже отошла. Ровно месяц пережила она мужа, которого все в нашей деревне звали просто дедом Охохониним.

## ВЕСЁЛЫЙ ЛИВЕНЬ

В середине июня из-за нашей березовой рощи выкатится круглое, белое, и прямо-таки невинное, какое рисуют в детских книжках, облако. Найдет на поляну, на наши дома и вдруг из него, как из пушки неожиданно бабахнет гром. Резкий, весёлый, на всю округу. На минуту всё в деревне притихнет. И ливанет короткий, крупный и тоже весёлый дождь...

– Вот это лупанул,– крикнет радостно на всю улицу дядя Толя Пунцевич, заскакывая на веранду. Ливень прихватил его в огороде.

И вся наша маленькая улочка засмеется. А кто-то из мужиков крикнет:

– Не подмочи порох, Толька!

Дядя Толя был заядлым охотником и рыбаком, как, впрочем, почти все мужчины на нашей улочке, и всякие шутки в его адрес были почти всегда связаны с охотой. И снова засмеются под верандами. Все хорошо знают эту прибаутку и к чему она относится.

– Да ну вас, черти,– отмахнется дядя Толя, закуривая под навесом папиросу.

Подобное общение у нас было делом обычным. Не в том смысле, что часто собирались именно так, целой улочкой. Это ливень собрал. А в том, что все на виду, все друг про друга всё знали. Как и шутку про подмоченный порох.

Ряд наших домов был построен так, что веранды и сенки выходили в одну сторону – в сторону огородов. За ними синела степь. Раньше ограды разделяли плетни из ракиты, позднее – редкий штакетник, поэтому дворы просматривались почти насквозь. И если кто-то из хозяек в одном конце улицы начинал лепить во дворе летнюю печку, топившуюся обыкновенно кизяком, то на противоположном, другая хозяйка зудела, не давая проходу своему мужу:

– Коля, привези кирпича, который раз прошу. Вон бабка Горковенчиха уже на

улице картошку варит, а у нас печка совсем развалилась...

Еще одна картинка. Осенняя. Во время сезона охоты. Позднее утро. Один мотоцикл во двор въезжает, потом другой, третий, четвертый. Вернулись, значит, охотники с озер. Настрелялись. На час, другой тишина – жены уток теребят. А потом, как по команде, загудят под навесами паяльные лампы, вкусный дымок начнет разноситься вокруг – это мужики «смалят уток». Пока молчат. Поглядывают в одну, другую сторону, пытаюсь ревниво разглядеть, кто сколько настрелял. Далековато – плохо видно. Только у ближних соседей можно кое-что рассмотреть. Потом кто-нибудь не выдерживает

– Иван!

– Ну...

– На Савельевом был?

– Ну а где же еще?

– И как там?

– Да ничего. Городские вот только... Сначала пьют, а потом такую пальбу устраивают, хоть ложись. Близко, далеко утка летит – им все равно...

– Ну, а сам?

– Да убил штук восемь.

– А ты куда, Николай ездил? На Боярку? (Это у нас так озера называются, где на уток охотятся.)

– Нет. Там омские за два дня места забрили. Я на Кругленьком немного постоял.

– И как?

– Да есть немного, – уклончиво отвечает сосед...

Да, про дождь забыли...

А он хлещет крупными отборными каплями, которые иногда сливаются в сплошной поток. Уже и солнце с одного боку пробивается, а значит не просто дождь, а «слепой». Ливневые потоки теперь подсвечены лучами, переливаются, играют, слепят. Кто-нибудь из нас, пацанов, не выдержит и стреканет из веранды под ливень. Задерет голову навстречу небесному потоку и хохочет-заливается. И родители смеются. Кричат с шутиливой грозой:

– А ну в дом, Петька! Суши потом тебя.

И снова про дяди Толин подмоченный порох вспомнят, снова беззлобно посмеются.

А дело и не в порохе было, а в патронах. Впрочем, даже и не с патронов всё началось. Вера, жена дяди Толи, увидев в один из осенних дней, что он складывает в коляску мотоцикла чучела, раскладную лодку и весла, спросила:

– На охоту собираешься?

– А что, не заметно? – дядя Толя, как и все охотники очень не любил, когда во время таких сборов рядом были женщины.

– А ты мне что позавчера говорил?

– Позавчера? Дядя Толя силится вспомнить, что говорил позавчера, и не может. Болит голова. Накануне основательно посидели после работы с мужиками на стройплощадке, так что с вечера к охоте толком подготовиться не успел. И теперь торопится.

Жена напоминает.

– Кто обещал забор поправить? Измучилась я. Как стадо идет – вся скотина у нас в огороде.

– Вера, некогда. Северная утка пошла. Ты что! Пропущу и всё...

– Да зачем мне твоя утка. У меня уже пальцы не гнутся ее теребить. Пока не загородишь – не поедешь. Не пущу.

– Вера, отойди. Не бери греха на душу...

В общем, поругались.

Когда он на своем стремительном «ИЖе» проезжал через ворота, у калитки стояла Вера.

Притормозил.

– Вер, не обижайся. Приеду, загорожу.

– Ага, слышали. Целое лето обещал...

Ну я тебе напоминалку приготовила.

– Сказал же, загорожу.

– Ты только порох там на своей охоте не подмочи.

Дядя Толя округляет глаза.

– Ты чего? Причем здесь порох? Он бросает взгляд на люльку, где у него лежит ружье и все остальное, газует и мчит-ся по поляне к шоссе.

У Савельева озера, куда он подъехал, знакомые мужики уже собирались плыть на воду. И он затормозился. Собрал лодку, бросил туда резиновые чучела, приладил на корму ружье. Оставалось надеть патронташ. Сунул руку в передок коляски, а патронташа нет. Еще раз, теперь уже лихорадочно, пошарил. Выбросил, все из коляски. Пусто. И тут вспомнил слова Веры про подмоченный порох.

– Да растудыт, твою... Ну баба... Испортила охоту...

Сел на люльку, закурил и неожиданно расхохотался...

Через полчаса ливень закончится. Снова будет жарить степное солнце, ярко блестеть лужи в траве, будет слегка парить земля, и чудесно запахнет терпкими, будоражащими запахами влажного чернозема, травы и свежей березовой листвы. И мы, пацанва, рванем по этим лужам в траве босиком, так, что брызги будут лететь в разные стороны. А из калиток, ворот на поляну выйдут мои земляки. И что интересно, с этой стороны дома они уже выходят совсем другими. Степенными, серьезными. И так странно это. Эх, родные мои...